



**75 ЛЕТ ПОБЕДЫ**

*Аполлон Давидсон*

# «Первый день ВОЙНЫ

## прекрасно помню...»



**Аполлон Борисович Давидсон**, выпускник исторического факультета ЛГУ, доктор исторических наук, профессор, академик РАН, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, ординарный профессор Высшей школы экономики;

большинство монографий и статей посвящены новой и новейшей истории стран Африки, истории Британской империи, а также Николаю Гумилеву, его роли в культуре Серебряного века. Мы публикуем часть его воспоминаний «Родным, умершим от голода», посвященную Великой Отечественной войне.



В блокаду интеллигенция оказалась самой неприспособленной. То, что она умела, не помогало выжить. А то, что помогало, она не умела. Не умела делать печки-«буржуйки». Наоборот, платила за них. Платили из своего голодного пайка даже те, кто был уже обречен. И деваться было некуда — морозы стояли до минус 25; окна во многих домах выбиты взрывными волнами бомб и наспех залатаны фанерой или картоном. Не умели делать гробы. А это, как и буржуйки, было доходным делом.

Легче выжить было продавцам магазинов, работникам тех немногих столовых, которые еще сохранились для привилегированной публики. Даже дворникам — дрова, заделка стекла, буржуйки. Ну и, конечно, номенклатуре. Рассказывали о роскошных обедах у Жданова в Смольном. А интеллигенция — «служащие» — получала по карточкам меньше, чем «рабочие».

Об отношении властей к интеллигенции — что уж говорить, если Сталин, восхваляя героизм всего советского народа, об интеллигенции сказал: «Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные

*Статья проиллюстрирована  
фотографиями  
из блокадного Ленинграда*

интеллигентики»<sup>1</sup>. Эти оскорбительные слова, сказанные в начале ноября 1941 года, очень запомнились ленинградцам еще и потому, что как раз те дни, годовщину октябрьского переворота, немцы отметили самыми лютыми бомбежками. 6 ноября стекла вылетели и в нашей комнате, а многие добрые знакомые остались вообще без крова.

От тогдашней питерской интеллигенции к концу войны остались лишь немногие. О таких людях, о том, каково им было в страшную зиму 1941/1942, мне хотелось бы рассказать. Я жил среди взрослых, — мои-

<sup>1</sup> Тогда все, даже школьники, знали наизусть высказывания Сталина: их было не так много, он был скуп на обращения к народу. Но теперь, наверно, нужно давать точную ссылку: Сталин И. Речь на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве. — Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — М., 1947.



то школьные друзья уехали, эвакуировались летом 1941 года. Конечно, я многого не понимал — мне шел 13-й год. Но, думаю, видел и понимал не так уж и мало. Перед лицом смерти, а ее призрак маячил перед каждым изо дня в день, люди становились открытыми, лгать-то, притворяться — зачем?

## Начало

Первый день войны прекрасно помню. Война застала меня на Волхове, в глухой деревушке под Киришами, в нескольких часах езды от Ленинграда — на расстоянии 250 километров. Сестра мамы работала в геодезической партии и взяла меня с собой — отдохнуть после школы.

Я перешел в пятый класс. Церемонию в школе обставили торжественно. Каждому вручали табель успеваемости. Показали фильм «Волга-Волга» (мы видели его уже не раз). Сразу после этого я и отправился в Кириши: бродил с экспедицией по лесам, помогал носить теодолит и прочие приборы. Но пробыл там совсем недолго.

Война! О ней мы узнали не из речи Молотова — в деревушке радио не было. Вечером, когда геодезисты вернулись из леса, колхозники сказали, что их собирали и объявили. Геодезисты должны были ждать указаний: оставаться или уезжать. Я, конечно, хотел вернуться. Для меня — первое в жизни самостоятельное решение: как быть? Добрался до железнодорожной станции, но билеты уже перестали продавать. Шли воинские эшелоны. Наконец, какие-то красноармейцы сжалились, взяли к себе в теплушку. 26 или 27 июня я самостоятельно приехал в Ленинград.

Ленинград встретил солнечной погодой. И окнами, заклеенными крест-накрест полосками бумаги. Подходя к дому, встретил одноклассников с вещами. Их эвакуировали на Валдай. Я тоже был с вещами, они решили, что я — с ними.

Уезжали мои друзья. Те, кого я успел полюбить. Да и свою школу

на Фонтанке мы любили, ее роскошный актовый зал — театры ему позавидовали бы — коридоры со скульптурами античных героев. Все это создавало настроение. Когда-то это было Петровское коммерческое училище — и в высоких застекленных шкафах по стенам классов по-прежнему сохранились в стеклянных банках семена диковинных «колониальных» растений, которые изучались там до 1917-го. Потом это была Первая образцовая школа. Там были старые преподаватели. Чувствовалось, что они — по-настоящему культурные, образованные люди. Эту же школу окончил Аркадий Райкин, 1911 г.р., старше меня на 18 лет. Когда мы встречались с ним позже, выяснилось, что некоторые преподаватели были у нас общие. Он рассказал мне, что там учился и академик Яков Борисович Зельдович.

В мое время это была 206-я школа. Большинство школьников — из семей интеллигенции. Вообще эти места были районом питерской интеллигенции.

Сердце екнуло — уезжают. Захотелось быть с ними, но я с таким трудом прорвался в Ленинград! Я уже настолько научился, так мне было трудно добраться до Ленинграда, что для меня думать, что я опять уеду, было совершенно дико. Решил, что никуда отсюда не уеду. Мама поддерживала — натерпелась тревоги за меня, пока я был вдали. У мамы мыслей эвакуироваться не было, поэтому так мы и остались. Большинства из сверстников я потом уже не встретил. Не встретил Панфилова, строгого директора школы, как и учителя пения Вахромеева, единственного мужчину из учителей нашего класса. Оба не пришли с войны.

Я вернулся к ленинградской жизни. Одноклассники уехали. Взрослым было не до меня. Школа, конечно, перестала работать. Чем заняться? Читал. Благо сохранились прекрасные библиотеки старых питерских квартир. Белые ночи еще не совсем кончились, по вечерам можно было читать и без электричества.



В молниеносное продвижение немцев к воротам города не верили. Очевидно, потому, что город ни разу не бомбили, даже когда в Москве бомбежки стали обыденным делом. Доходило порой до поразительной наивности: думали, не увезти ли детей в пригороды, в дачные районы на случай бомбежек. Страх оказаться в осажденном городе не было.

А тем временем поток беженцев в Ленинград нарастал: и с юга, и из Эстонии. Неожиданно появились они и в нашей семье: отец моего отчима, в прошлом артист Александринки, и его жена. Обрусевшие немцы, они не захотели жить в германской оккупации. И при приближении фронта к Гатчине (они жили там, уйдя

на пенсию), перебрались в Ленинград, к нам. Вообще, казалось, что численность населения в Ленинграде к началу блокады была из-за притока беженцев не меньше, а больше предвоенной.

### В блокаде

В первых числах сентября, когда город уже окружен — первые немецкие снаряды. Еще до первых бомб. А бомбежки — с 6–8 сентября, и с тех пор уже постоянно, до начала декабря, когда немцы почему-то прекратили их на четыре месяца. «Воздушная тревога», «отбой воздушной тревоги» и снова сирены — и так бесконечно. Повсюду поиски шпионов — это они



подают сигналы «мессершмиттам», «хейнкелям», «юнкерсам». Но даже намек на панику не было.

Пожалуй, только один раз видел, нет, не панику, но все же бурное массовое возбуждение. Бомба попала в кинотеатр «Форум», на седьмой линии Васильевского острова.

Кинотеатр вспыхнул, как факел. Люди из соседних домов высыпали на улицу: крики людей — на это еще были силы, лай собак (сентябрь — в городе еще были собаки). Для меня, как и почти для всех вокруг, это была первая бомба совсем рядом. Я сидел в доме напротив, под окном, читал «Графиню Монсоро», вдруг на меня свалилось одеяло, которым было завешено окно. Звон стекла, осколки повсюду и пламя, казалось, прямо из окна в комнату. Говорили потом, что это была комбинированная фугасно-зажигательная бомба.

В той комнате, напротив «Форума», собралась тогда вся родня, Макрушины: бабушка, сестра мамы, жена ее брата и мы с мамой. Женщины и дети. Мужчин, как и во многих семьях, не было. Хозяин комнаты, мой дядя, был мобилизован, как артиллерист запаса, еще весной и отправлен под Брест. Отчима вызвали в Москву. Женщины жались друг к другу, тянуло быть вместе — не так страшно. Но после той бомбежки комната оказалась без стекла, и пришлось разбежаться по домам. Мы с мамой тоже вернулись к себе, на улицу Ломоносова, или, как все называли ее по-старому, — Чернышев переулок. Но и там предпочли жить не одни, на сей раз с соседями. Думаю, что это было типично тогда для петербургских квартир.

Переселились мы все из своих комнат в кухню, кухня большая, 30 метров. Дом когда-то построили купцы Елисеевы еще до русско-японской войны. Построили, как и их известные Елисеевские магазины, фундаментально, с размахом: просторные коридоры, кладовки. Но главное — кухня находилась в глубине квартиры. Фасад же выходил на обстреливаемую сторону. В соседний дом, № 12 (наш был — 14) снаряд уже попал.

Так что в кухне было безопасней. Нас собралось там много, хотя, в сущности, только две семьи. Большая семья Набоковых (о писателе Набокове я услышал много лет спустя, так что не знаю, в каком родстве они были). У нас с ними было много общего. Я уже писал, что они пережили ссылку — их выселяли в 1935-м, после убийства Кирова, к счастью, недалеко, в Уфу, и в 1939 разрешили вернуться. Ну, а мама моя пережила ссылку, куда более дальнюю, со своим первым мужем, моим отцом.

Сближал нас с Набоковыми и интерес к литературе. Напомню, что у них была сохранившаяся с дореволюционных времен прекрасная библиотека. «Брокгаузовская двадцатка» — 20 богато изданных томов Шекспира, Байрона, Пушкина... Дешевые, на газетной бумаге, «144 тома иностранных писателей» и 60 томов дополнения: Вальтер Скотт, Гофман, Шпильгаген, да кого там только не было! Школа не работала, и я читал, читал...

В семье Набоковых были бабушка, мать и трое молодых мужчин, от 18 до 28 лет. Ждали призыва в армию, но их, как и многих ленинградцев, долго не брали: в армии пришлось бы кормить, а нечем. Набоковых было пятеро, нас — четверо: мама, я, «дед» — отец моего отчима, — и его жена. Был еще кот, любимец всей квартиры. Его кормили до последнего. Но он, бедняга, не мог есть хлеб из суррогатов, который ели мы, и стал в нашей квартире первой жертвой блокады.

До войны у нас были еще две собаки — пойнтер и сеттер. В последние предвоенные годы среди породистых собак свирепствовала чумка, и оба пса погибли. Но в доме не все об этом знали. Сосед из верхней квартиры пришел к нам: «Я понимаю, у вас не поднимется рука на своих собак. Давайте, это сделаю я. Только уделите моей семье хоть немного мяса».

По вечерам, чтобы заглушить чувство голода — рассказы о прошлом. «Дед», Василий Адольфович, — о театральном Петербурге, о Варлааме, Савиной, Тиме, Давыдове, Лидии

Липковской, Орленеве и многих других, кого он знал или даже с кем вместе играл в Александринке. Старшая из Набоковых, Александра Иосифовна, вспоминала «мирное время» — дореволюционный Петербург.

Преимущество общей жизни на кухне мы особенно почувствовали 5–6 ноября, когда немцы обрушили на город бомбовый шквал. Большой фугас — в полутораэта метрах от нашего дома. Бомбы падали в Фонтанку, пол ходил ходуном. От роскошного здания банка, совсем рядом, остались только стены. Рассказывали, что кому-то все же удалось спастись. Массивный старинный стол перевернулся, и человек оказался в пространстве между крепкими дубовыми ножками. Так он и летел вниз. Ножки задержали падавшие вслед обломки, и в пространстве между ними был воздух, можно было дышать. Там его и откопали. Никто не знал, так ли было на самом деле, но хотелось верить в чудеса.

В нашей комнате тогда вылетели стекла. Правда, не все: как-то ассиметрично. Потом удалось забить окна фанерой, помог дворник, дядя Вася, добрая душа. Конечно, не бесплатно. Но температура все равно была, как на улице. А там — одна из самых суровых зим тех лет.

Осенью у людей еще хватало сил бывать у старых друзей, узнавать, все ли живы.

Самой близкой нам была семья Григорьевых. В кругу общения нашей семьи они занимали особое место — дружили много лет. Они жили неподалеку, в середине Гороховой, на равном удалении от двух памятных мест этой улицы: от конца ее, где жил когда-то Распутин, и начала, где большевиками было создано ЧК. Глава семьи, Леонид Николаевич, участник русско-японской войны, врач, побывавший в японском плену, теперь работал на «скорой помощи», подбирал людей, упавших на улице от истощения, хотя и сам еле ходил. Его сын работал на телефонной станции. Как внука двух действительных статских советников, его в 1920-х годах не приняли

в университет. Начинал он с монтера. А увлечением его на всю жизнь была история. Забегая вперед, скажу, что потом, пережив блокаду, он все свое свободное время уделял истории, писал «в стол». При жизни почти ничего не опубликовал. Лишь почти два десятилетия спустя после его смерти издали одну из его рукописей<sup>2</sup>.

Встречались мы и со старыми сослуживцами мамы — преподавателями медицинского техникума, с коллегами отчима (к тому времени его с Академией наук перевели из Москвы в Свердловск) — географами и геологами. У ленинградской научной интеллигенции еще до войны была, в отличие от московской, дополнительная причина для горячих обсуждений: научные учреждения, издательства и журналы начали переводить в Москву. Над питерскими учеными нависла угроза остаться невостребованными.

Разумеется, виделась и с моим отцом. Я уже писал, что когда-то, в 1928, мама поехала к нему в ссылку и вернулась в Ленинград только после моего рождения — в тех условиях трудно было с маленьким ребенком. Но когда отец наконец вернулся после ссылки и запрещения жить в больших городах, тут-то они с мамой и разошлись. Не из личной неприязни. Но остались друзьями, и в блокаду отец помогал нам, как мог.

В его квартире, тоже, конечно, коммунальной, жила интеллигентная еврейская семья: два брата, оба — инженеры, работали на оборонном заводе. Когда старший из них, Яков, настолько ослабел от голода, что не вышел на работу, за ним прислала машину — неслыханно для тогдашнего Ленинграда. Завод не мог без него обойтись.

Соседи моей бабушки на Васильевском — немецкая семья. Интеллигентные пожилые немки, седые, чистенькие, со вкусом причесанные, с хорошим немецким языком — и ника-

<sup>2</sup> Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный. К вопросу о происхождении опричнины. — М., 1998.



кой симпатии к фашизму. По городу до первых бомбежек шел слух, что Васильевский остров бомбить не будут — там с незапамятных времен жили немцы. Но в первых же бомбежках досталось и Васильевскому.

В нашей коммунальной квартире общались с друзьями Набоковых. С контр-адмиралом Балкашиным, преподавателем каких-то военно-морских наук — он был женат на одной из Набоковых. С Тамарой Гинцберг, невестой одного из младших Набоковых. Ее отец, капитан или майор, попав в окружение, застрелился, памятуя наказ Сталина, что сдаются только изменники. А потом его часть все-таки вышла из окружения. Можно представить горе семьи!

Так получилось, что среди родственников и друзей в Ленинграде не было ни одного члена партии. Когда маме парторг на ее работе предложил вступить в партию, она ответила: «Я была то «беспартийная сволочь», то — «гнилая интеллигенция». Пусть такой и останусь». Парторг оказался порядочным человеком — не донес.

Какие настроения были в этой среде? Той самой, о которой Сталин, наверно, и говорил «перепуганные интеллигентики». Советская власть всем этим людям была чужда, все они от нее пострадали. Но победы Гитлера никто не желал (разве что одна семья, кстати, потомственных аристократов — не буду их называть). Представление о фашизме имели, хотя с августа 1939 года в официальной печати о нем перестали упоминать. Начала войны ожидали: английское радио предупреждало за много дней. Не верили злосчастному заявлению ТАСС, за несколько дней до войны, что Германия нападать не собирается. Не верили бравурным песням:

*И в каждом пропеллере дышит  
Спокойствие наших границ.*

Не верили Сталину, когда он 7 ноября убеждал: «В Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона солдат. Германия исте-

кает кровью». Понимали, что неправдоподобно. А потому не верили — хотя очень хотели бы верить! — и сталинскому обещанию: «Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик, — и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений».

С горькой иронией отнеслись к посланию Калинина, «всесоюзного старосты». Обращаясь: «Ленинградцы, дети мои», — он призывал потуже затянуть пояса. А люди-то умирали.

«Перепуганные интеллигентики!» Их уже столько пугали, таскали по ссылкам, чего им еще бояться? Но, наверно, они-то и были большими патриотами, чем те, кто их так называл. Верили в Бога, хотя в церковь не ходили. Верили в конечный разгром немецкого фашизма, хотя и понимали, что нужны не «несколько месяцев, полгода, может быть, годик». И прилагали к этому все силы, которые у них еще оставались. Продолжали работать, каждый на своем месте. Во время бомбежек мама дежурила на чердаке и крыше — нужно было гасить зажигательные бомбы в ящиках с песком. Иногда ходил с ней и я.

Не верили укоренившемуся слуху, будто первопричиной голода стал пожар продовольственных Бадаевских складов после немецкой бомбежки. Могло ли все содержимое складов погибнуть от одной бомбежки? И вообще — неужели громадный город полностью зависел от одной лишь группы складов, даже если она большая? А не был ли этот слух выгоден ленинградским начальникам или властям, куда более высоким? Или, больше того, ими и «запущен»? Свалить страшный голод на немецкую бомбежку и на нерадивых хозяйственников, которые чуть ли не все продовольствие для огромного города якобы собрали в одно место, положили все яйца в одну корзину...

Был и другой слух, но его передавали друг другу только шепотом и только самым близким: не надеясь отстоять Ленинград, власти готовились заминировать важнейшие объекты, а в отношении продовольствия — больше всего боялись, как бы оно не досталось

врагу<sup>3</sup>. Не хотелось верить, что это — правда, хотя считали, что от властей можно ждать чего угодно. И впоследствии это, в сущности, признал даже А. И. Микоян. По его словам, Жданов, а за ним и Сталин, в начале войны отказались посылать в Ленинград дополнительное продовольствие — те составы, которые шли на Запад и должны были с началом германского вторжения повернуть обратно.

В воспоминаниях, которые Микоян опубликовал, уже отойдя от активной деятельности, сказано: «В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска развертывали наступление, многие эшелоны с продовольствием, направляемые по утвержденному еще до войны мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к месту назначения, поскольку одни адресаты оказались на захваченной врагом территории, а другие находились под угрозой оккупации. Я дал указание переправлять эти составы в Ленинград, учитывая, что там имелись большие складские емкости.

Полагая, что ленинградцы будут только рады такому решению, я вопрос этот с ними предварительно не согласовывал. Не знал об этом и Сталин до тех пор, пока ему из Ленинграда не позвонил А. А. Жданов. Он заявил, что все ленинградские склады забиты, и просил не направлять к ним сверх плана продовольствие.

Рассказав мне об этом телефонном разговоре, Сталин дал мне указание не засылать ленинградцам продовольствие сверх положенного без их согласия. Тщетно я пытался его убедить, что спортивные помещения, музеи, торговые, наконец, дворцовые

сооружения могут быть использованы как склады»<sup>4</sup>.

Правда, не было ли и лукавства в этом признании Микояна? Что это были за составы, которые везли продовольствие к западным границам в плодородные области, которые сами снабжали страну? Не было ли это то самое продовольствие, которое советское правительство поставляло Германии вплоть до первого дня войны?

А об отношении Сталина к ленинградцам — еще одно признание Микояна. «Транспортировка в Ленинград продовольствия по воздуху вначале осуществлялась бомбардировщиками «Дуглас», которые я мог направить туда, поскольку контролировал поставки от союзников.

Транспортных самолетов в современном понимании тогда у нас еще не было. Мне удалось сконцентрировать, за счет других направлений, под Ленинградом около 50 бомбардировщиков «Дуглас» и перевозить на них грузы в Ленинград. Дошло до Сталина. Он спросил меня: «О чем ты думаешь? Зачем боевые самолеты использовать не по назначению?». Пришлось уступить. В конце декабря 1941 года почти все самолеты, доставляющие продовольствие в Ленинград, были переведены на выполнение других заданий.

Кузнецов имел по этому поводу продолжительный разговор с Поскребышевым, стараясь, чтобы тот внушил Сталину «необходимость «Дугласов» для снабжения города». Но Сталин не согласился их отдать на эти цели»<sup>5</sup>.

Вероятно, такое отношение Сталина передавалось и другим. Военный совет Ленинградского фронта просил маршала Кулика, командующего 54-й армией, находившейся между Мгой и Волховом, дать в помощь Ленинграду одну-две дивизии. «Имея такую возможность, Кулик этого не сделал».

*Окончание в следующем номере.*

<sup>3</sup> Микоян А. И. Так было. — М., 1999.

<sup>5</sup> Кузнецов Александр Александрович — партийный деятель, в то время один из организаторов обороны Ленинграда.

<sup>3</sup> В. С. Семенов, известный дипломат, заместитель министра иностранных дел, писал, основываясь на свидетельствах очевидцев: «Жданов праздновал в Ленинграде труса. Он и Ворошилов, отправленный сразу командовать Северо-Западным фронтом, фактически считали падение Ленинграда неизбежным». — От Хрущева до Горбачева. Из дневника чрезвычайного и полномочного посла, заместителя министра иностранных дел СССР В. С. Семенова. — Новая и новейшая история, № 4, 2004.